

Ольга Мартынова

Ангелоловка

О ЛЕТУЧИХ МЫШАХ: они кричат с силой электродрели, когда ты хочешь спать, а твои соседи хотят делать ремонт. Но ты не слышишь их ультразвука. Возможно, и они не принимают твои частоты, как же иначе они могли бы находиться поблизости от тебя. Или все-таки они тебя слышат? Тогда они в лучшем положении, чем ты. Или в худшем. Несомненно, вокруг много мелких и крупных существ, не только не слышных, но и не видных тебе, потому что они висят на других волнах светового спектра. Возможно, и осязание твое не затронуты некоторыми существами, а их осязание – тобой. Так экономится много места, и на одну единицу площади помещается много единиц ее обитателей.

Федор Штерн

Если существуют ангелы, то почему никому из них не поручено воспрепятствовать тому, чтобы на земле происходили вещи, которым место только в аду?

Кристина Лавант

Кто допускает уничтожение собственных родных, о котором пусть неофициально, но в целом было известно, тот остается равнодушен, когда позднее шесть миллионов евреев депортируют в смерть и два миллиона советских военнопленных умирают в немецких лагерях от голода.

Гёц Али

О золотых зубах не принято разговаривать.

Франц Мон

Записки ангелоголика

В старину ловушки для птиц не были редкостью. Например, на картине Питера Брейгеля Старшего «Пейзаж с конькобежцами и ловушкой для птиц» видна небольшая ловушка, которая вряд ли удивляла современников. В тяжелые времена бедняки ловили птичью мелочь для пропитания; во времена полегче – держали певчих птиц для утешения. Для богатых же это было просто забавой, которой не брезговала и высшая знать. Возьмем хотя бы балладу о Генрихе Саксонском: гонцы принесли весть об избрании его королем прямо к ловушке для птиц, где он любил проводить часы досуга:

*Сидит наш Генрих-птицелов,
Довольный и веселый, и т. д.*

Ловушки для ангелов, напротив, неизвестны почти никому. В целом они похожи на ловушки для птиц. <...> Чтобы ловить птиц, насыпают искусственный холм и втыкают туда кустики и невысокие деревья. Немецкое слово для такой ловушки («Vogelherd»), которое сегодня все ошибочно понимают как «птичья печь», на самом деле означает «птичья земля» («Vogelerde»). Чтобы ловить ангелов, не нужно столько места, ведь в отличие от всяких дроздов – от белобровика, рябинника или певчего дрозда, – а также от коноплянок, чижигов, овсянок, щеглов, снегирей и зябликов, ангелы, как известно, бестелесны и могут все уместиться на кончике иглы. Только что они на этом кончике иглы забыли? Каждый ангел может одновременно находиться повсюду, что, конечно, очень усложняет ловлю. В общих чертах это делается так: с помощью специального устройства над шаром из посеребренного зеркала, уже несколько замутненного временем, устанавливается игла. Устройство это располагается неподалеку от чему-то радующихся, даже, может быть, счастливых, людей. <...> Что птицам конопля, рябина и червячки, то ангелам – человеческие чувства. Они даже приобретают некоторую плотскость, чтобы разделить движения человеческой души. Искусный ангелолов знает, как радость одного или нескольких человек вовремя превратить в горе. Другая, более хитрая методика – предугадать, когда радость обернется горем, и оказаться в нужный момент в нужном месте. Невидимый ангел вскрикивает, на этот крик игла вылетает из механизма и вонзается в его бестелесное сердце. Он падает в ловушку. Ловушка тут же

захлопывается специальной крышкой, наподобие сетки для птичьей ловли. В мутном посеребренном зеркале ангел становится видимым, поэтому такие зеркальные шары являются также и клетками, в которых держат ангелов.

Примером хорошей наживки для ангелов может служить история влюбленной в Фауста Маргариты с ее сначала неземным счастьем, а потом адскими муками (Мефистофель занимается ловлей ангелов по совместительству с охотой за душами людей). Иногда приманкой служит коллективное страдание. Несмотря на то, что многие считают их равнодушными, большинство ангелов сострадательны. Они просто не могут ни во что вмешиваться, а только должны выполнять данные им поручения, иногда довольно жестокие, и для ангелов, как правило мягких по натуре, не совсем понятные. Их квадратные, круглые и ромбовидные глаза наполнены слезами. Но ничего не поделаешь, они всего лишь вестники. Поэтому более простой способ ловить ангелов – установить ловушку там, где мучают людей оптом. Замечательно подходят, например, места массового уничтожения. Охота на ангелов – чрезвычайно опасное, дорогостоящее и производимое в строгой тайне дело. А коллекционирование ангелов могут себе позволить лишь очень немногие. Одиноким собиратель ангелов проводит свои вечера над шаром потемневшего зеркала, погружаясь в ангельскую печаль. Его сердце, некогда зачерстневшее и огрубевшее от всяческих несчастий, смягчается в слезном паре. Подобные шары являются самым сильным из всех наркотиков с самым быстрым привыканием. Неудивительно, что в старину возникла пословица, предостерегающая от этой пагубной страсти:

За ангелами гоняться, только маяться.

Некоторые из пойманных ангелов используются как манки. Подобно тому как птицелов выжигает овсянке роговицу, ловец ангелов ослепляет свою добычу (как он этого достигает при ангельской бестелесности, является тайной). Несчастные искалеченные птицы выносятся из домика птицелова на свежий воздух и начинают с невероятной громкостью петь, кричать и чирикать, чем и привлекают других птиц. Ослепленные ангелы с невероятной интенсивностью зовут на ощупь своих сородичей. Этот прием считается нелегальным даже в нелегальном союзе ангелоловов. Я у таких ловцов никогда не покупаю, хотя это и не так страшно, как кажется: для ангелов не существует ни времени, ни пространства, и каждый из пленников находится в то же самое время где-нибудь еще, где он (по человеческим меркам) был до этого или будет позднее. Все, что с ним происходит, происходит одновременно. Но не следует думать, что ангелы не знают ни радости, ни печали. Просто все случается одновременно. Нам же остается рассказывать про них так, как если бы события наступали

одно за другим, как это привычно нам, обитателям времени. Однако и заключение, что с ангелами не происходит ничего нового, было бы неверным. Новое событие просто присоединяется к ангельской одновременности.

Мне, одинокому ангелоголику, все труднее оторваться от моего зеркального шара. Я делаю это лишь потому, что, сидя здесь, я не могу поддерживать мою коллекцию, требующую довольно больших средств. Разумеется, я плачу за моих ангелов не деньгами. Но деньги помогают мне приобрести ту тайную валюту, которая циркулирует между ловцами и собирателями ангелов, и описание которой я не могу доверять даже этим запискам. Я не беден, но моя коллекция – дело, как сказано, дорогостоящее. И даже если бы я знал, как избавиться от ангелозависимости, я не знал бы зачем.

<...>

Может быть, все началось в тот день? – спросит себя Каспар Вайдеггер много позже и рассмеется, потому что в любом случае каждый день является началом следующих за ним событий. И все же. В одну заснеженную ночь он будет уверен, что вспоминает, как одним солнечным днем все на террасе его дома были как-то по-особенному напряжены. Не то чтобы выпитое шампанское стало причиной этого напряжения, скорее оно вызвало слишком быструю смену настроения и некоторую излишнюю раскованность. Фабиан Кранихпферд задиристо ответил ему на что-то, вероятно, неважное:

«Истории как таковой не существует, есть только способы ее передачи. Кто лучше всех умеет рассказывать, тот и определяет, что есть правда».

Аннелиз Айхенпергер одобрительно улыбнулась в своей авторитарной, но любезной манере. Молодой человек ей нравился.

Каспар Вайдеггер быстро поднял глаза на шустрого журналиста:

«В вашем возрасте я тоже так думал. Или, по крайней мере, считал себя обязанным так думать».

Аннелиз Айхенпергер кивнула. Старый друг ей, разумеется, тоже нравился.

Фабиан Кранихпферд подумал, что Каспар Вайдеггер тщеславен и напыщен, как афишная тумба. Это не помешало ему, с одной стороны, заметить себе, что он сам мог бы быть посдержаннее, с другой стороны, не уберегло его от неловкого ответа:

«Вот. Ну да. Большое спасибо. Что вы согласились дать мне интервью. Что я еще хотел спросить. . .»

Каспар Вайдеггер ответил немного рассеянно, но доброжелательно:

«Пожалуйста, пожалуйста, господин. . . Кранихпферд. Лаура попросила меня об этом, как же я мог ей отказать?»

Лаура Шмиц польщенно улынулась и подумала, откуда у него эта дурацкая старосветская куртуазность, только подчеркивающая, как мало она для него значит. Так не разговаривают с женщиной, с которой связано несколько лет жизни. Хотя КВ действительно стал мягче и дружелюбнее. Ей удавалось проводить с ним гораздо больше времени, и это было счастьем, которому она не вполне доверяла. Не то чтобы счастьем, а чем-то, чего она столько лет безо всякой надежды добивалась. Это значило для нее слишком много, чтобы называться просто «счастье». «Не вполне доверяла» было тоже не совсем то. Но она не знала, как еще назвать потерю привычного грустного равновесия. Когда Фабиан спросил, может ли она организовать интервью с КВ («Ты же с ним знакома, да ведь?»), ее щекам и спине стало жарко и они (спина хотя бы невидимо для посторонних) покраснели:

«Он не дает интервью. В принципе. Никогда».

Но Фабиану обычно все удавалось. Он чувствовал, что, где и каким образом было уместно, и пользовался всеобщей симпатией. Иллюстрированный еженедельник, сотрудничество с которым казалось ему недостижимой целью, он смог, в конце концов, заинтересовать предложением сделать интервью с Каспаром Вайдеггером (тем отвратительнее он себя чувствовал, что ради красного словца вызвал, кажется, раздражение этой афишной тумбы, обклеенной собственной славой).

Лаура выполнила его просьбу почти произвольно. Только из-за глупой стеснительности, в которую она иногда впадала в присутствии КВ, она упомянула Фабиана, просто чтобы не молчать.

«Приведи его в следующую субботу, если он не боится брать интервью при посторонних, сделаем это заодно, и мне не надо будет тратить на него время», – сказал КВ.

Иногда он приглашал горстку друзей на субботний послеобеденный чай. «Чтобы окончательно не одичать», – говорил он. «Горстка друзей», – говорил он, хотя собственно друзей было у него два: Аннелиз и Дитер. В последнее время Лаура тоже всегда была на его субботах. В остальном это были каждый раз разные гости (горстка), которые его в данный момент почему-либо интересовали. В понедельник он рассылал приглашения. Пять или шесть избранных чувствовали себя соответственно: избранными. Ему это было известно и казалось даже славным, что он мог дать кому-то почувствовать себя избранным. На террасе, которая зимой застеклялась и

превращалась в зимний сад, подавали канапе, фрукты, чай, кофе и легкое игристое вино местного винодела из соседней деревни. Виноделом этим был младший брат Дитера, и Каспар всегда покупал у него.

<...>

«Можно задать вам еще один вопрос, не для прессы, как говорится, мне интересно, что вы думаете о развлекательной литературе? Можно ли еще говорить о границе между высоким и низким искусством?»

Каспар подумал, когда же это кончится, какой он осёл, что вообще согласился на это интервью, и постарался ответить как можно короче: «Эксперимент по слиянию серьезного и тривиального искусства можно считать провалившимся. Но неверно было бы и презирать тривиальное искусство. Попробуйте написать бульварный роман, и вы увидите, что это не так просто».

Он сказал не то, что думал. А думал он, что хорошо бы написать такую книжку, которая была бы глупа как сама жизнь (а не как грошовая литература). Он полагал, что искусству никогда не достичь идиотизма жизни.

Аннелиз Айхенпергер, держась на правах старинной дружбы одновременно непринужденно и покровительственно, была с ним не согласна:

«Каспарчик, дорогой мой, нет ничего проще. Ты должен изобразить что-нибудь, чего все хотят, то есть такое, чего им якобы недостает, или что-нибудь, чего все боятся. А лучше и то и другое. Ты берешь хорошо одетых, в идеале ты называешь какие-нибудь марки и фирмы, элегантных, на первый взгляд беззаботных людей и окружаешь их всякими неприятностями. Ты можешь назвать это все, скажем, «Случай на озере» и начать так:

Случай на озере

Она сидела на террасе своего летнего дома. Ее огромные серо-голубые глаза были устремлены на серо-голубую водную гладь. *Если он не появится и сегодня, значит, случилось что-то ужасное*, эта мысль угадывалась в печальном выражении ее лица, казавшегося в тени широких полей ее шляпы...»

Аннелиз остановилась: «Назовите какую-нибудь марку, что за шляпа?»

<...>

«Шанель?» – осторожно предложил Фабиан Кранихпферд.

В разговор вмешалась Патриция Штайнланд из музыкальной редакции местного радио:

«Мейзер! Достаточно солидная фирма и звучит не так тривиально, как Шанель!»

Фабиан изобразил растерянно-беззащитное лицо, и Аннелиз за него вступилась:

«Нет, нет, нет, нам как раз и нужно что-нибудь «тривиальное». Шанель? Прекрасно, я не против».

Патриция Штайнланд недовольно пошевелила губами и промолчала.

«. . . эта мысль угадывалась в печальном выражении ее лица, казавшегося в тени широких полей ее шляпы от Шанель еще бледнее, чем оно и без того было.

Каспар, не хочешь продолжить?»

«Почему бы и нет:

Калитка в конце садовой дорожки отворилась. Мужская фигура, темная в контражуре, быстрыми шагами приближалась к террасе. «Mon Dieu, наконец-то!» – прошептала она. Но это был не он. Это был незнакомый человек в – наверное, все же не в Шанели?»

Аннелиз рассмеялась.

<...>

«Полицейская форма!»

Каспар кивнул и продолжал:

«Это был незнакомый человек в форме. Он показал ей свое удостоверение, в котором она не могла прочесть ни строчки, потому что ее и без того раздраженные гримом глаза были воспалены слезами последних дней.

– Вы, насколько я понимаю, фрейлейн С.?

– Да, а в чем дело? Кто вы такой?

Он сунул удостоверение ей под нос:

– Вы знакомы с лейтенантом К.?

– Но в чем дело?

– Вопросы здесь задаю я. Вы с ним знакомы?

–

– Вы с ним знакомы? Да или нет?

– Что случилось? Он . . . ? С ним . . . ?

– Значит, вы с ним знакомы. Когда вы видели его в последний раз?

– Я не знаю. Может быть дней десять назад. Или больше. В чем все-таки дело?

– Расскажите мне об этой встрече. Что он вам сказал? Вы заметили что-нибудь необычное?

– При чем здесь я? Почему вы пришли ко мне? Он просто знакомый. Что произошло?

– Хорошо. Сейчас я вам скажу. Он покончил жизнь самоубийством.

Человек в униформе взглянул на...

Назовите мне тогда и марку часов!»

<...>

Фабиан отважился на еще одно предложение: «Ролекс?»

Патриция Штайнланд поняла, что пришел ее час: «Омега! Марка Джемса Бонда!»

«Человек в униформе взглянул на свои часы марки «Омега»:

– Ровно четыре часа назад. В его нагрудном кармане лежало адресованное вам письмо. И ваша фотография. Вы красивая женщина».

Каспар оглядел своих гостей: «Кто хочет продолжить? Может быть, вы?»

Фабиан принял польщенный вид и, как бы смутившись, вступил в игру:

«У нее потемнело в глазах. Светло-голубая гладь воды распалась на черные и коричневые треугольники и квадраты».

«Ну, нет! Ни в коем случае! Это чересчур!» – Аннелиз хотела показать свое недовольство, но не полностью уничтожить молодого человека и великодушно согласилась с первой частью:

«У нее потемнело в глазах» неплохо и вполне достаточно.
Продолжайте!»

«У нее потемнело в глазах. Она соврала, что не знает, когда они в последний раз виделись с лейтенантом К. Это совершенно никого не касалось. Из страха пропустить его звонок она почти не выходила из дому в последние дни и часами смотрела на высокий рычаг телефона, придававший аппарату сходство с немим жуком-оленим, вздымавшимся на своих жвалах немую гусеницу-трубку.

– Я не могу отдать вам письмо, но вы можете его прочитать».

«Последняя фраза годится, но описание телефона снова получилось немного слишком» – Аннелиз остановила игру, Фабиан Кранихпферд притормозил свою фантазию, которая только начала разгоняться, и извинился за вычурный телефон, улыбаясь и поднимая плечи. Он огорчился, что описание старинного телефона, который он заметил в кабинете хозяина, было так бессмысленно потрачено. Лучше бы он его припас на будущее. Хотя – почему, собственно, он не мог воспользоваться им в другой раз? Так можно начать материал о Вайдеггере: «Каспар Вайдеггер приглашает нас на террасу, но сначала мы проходим через впечатляющий своей атмосферой кабинет писателя. На большом деревянном столе стоит настоящий старинный телефон, возможно 30-х годов прошлого века, напоминающий жука-оленья».

Каспар звал «горстку друзей» днем, потому что он терпеть не мог засидевшихся допоздна гостей и долгие разговоры, становящиеся с каждым выпитым бокалом все глубокомысленнее. Ангеля, его приходящая прислуга, в половине третьего постепенно начинала убирать со стола, чтобы естественным образом создавалось ощущение, что прием закончен. Когда она вышла на террасу, Каспар вспомнил, что Лаура что-то такое говорила о русском происхождении своего протеже, и решил сказать ему на прощанье что-нибудь любезное, чтобы скрыть свое нетерпение (когда же он, наконец, уйдет?), и ему не пришло в голову ничего лучше, чем представить ему Ангелю: «Вы, кажется, говорите по-русски? А вот Ангеля приехала из Литвы». *По-русски говорят сто пятьдесят миллионов*, ответил бы ему Фабиан, но это было бы грубо и по отношению к афишной тумбе и к невысокой хорошенькой женщине со стрелкой на чулке. *В Литве говорят не по-русски, а по-литовски, это даже не родственные языки*, этого он тоже не сказал. Ангеля улыбнулась ему робко и недоброжелательно.

Лаура поблагодарила за приглашение и недоверчиво покосилась на Ангелю. Все женщины в присутствии КВ вызывали у нее ревнивое подозрение. Каспар проводил ее до калитки сада и пообещал вечером позвонить. Она кивнула и улыбнулась своей странной улыбкой, поднимая левый уголок губ и опуская правый, как если бы ее узкое лицо объединяло комедию и трагедию.

Уходя, Лаура представила себе огромный летний вечер, наполненный напряженным и напрасным ожиданием звонка. Она не решалась позвонить ему сама. Точнее, однажды она решилась, но его удивленный голос (так разговаривают с вами в дорогах отелях, недостаточно внимания уделяющих обучению персонала, куда вы заглядываете, не в силах разобраться в топографии чужого города, чтобы спросить дорогу) так ошеломил ее, что она ему больше не звонила, а только время от времени вынимала из кармана свой телефон. Из черного дисплея на нее смотрело ее собственное отражение, и это придавало ее любви, говорила она себе, ее одинокой любви, нечто нарциссическое.

<...>

Но Каспар не забыл позвонить Лауре, хоть и спохватился довольно поздним вечером. Из-за того что Аннелиз подсунула ему свою фрейлейн С., он потерял чувство времени.

Случай на озере

– Я не могу отдать вам письмо, но вы можете его прочитать.

Потому что это вещественное доказательство? Но доказательство чего? – подумала она. – Что ему может быть известно? Она действительно скрывала что-то ужасное (вычеркнуть! – подумал Каспар, – я не обязан следовать стилистическим представлениям Аннелиз), что было чудовищной проблемой (вычеркнуть! – представлениям молодого выскочки с шутовским именем тем более). Но письмо не могло раскрыть эту тайну, потому что К. (произнести его имя, хотя бы и в мыслях, было мукой) ничего об этом не знал. Она собиралась с ним все обсудить, но он пропал и не появлялся. С

каждым днем у нее оставалось все меньше надежды, что с ним ничего не случилось. Она с трудом разбирала написанное, буквы норовили рассыпаться в прах: «Мой ангел, прости меня. Так лучше. Прости, что я оставляю тебя одну в этом жестоком мире. Но взять тебя с собой было бы еще большей жестокостью. Мое последнее и единственное желание, чтобы ты была счастлива. Тебе надо только дождаться, пока это все тем или иным образом закончится. Твой, и теперь только твой, весь твой, навеки!»

– Не будете ли вы так любезны, фрейлейн С., сказать нам, *что* должно «тем или иным образом закончиться»?

– Не имею ни малейшего представления, что бы это могло быть.

– Вы, кажется, были с ним хорошо знакомы, фрейлейн С.?

– Нет. Отнюдь. Честно говоря, это письмо меня удивляет. Я не понимаю, почему оно адресовано мне.

– А ваш обморок?

– Видите ли, господин...?

Он сунул удостоверение ей под нос.

– Видите ли, господин В., для вас это, несомненно, повседневная рутина. Но для меня внезапная новость о чьей-либо насильственной смерти – потрясение. Как он это сделал?

– Вопросы здесь все еще задаю я. С вашего позволения. Лейтенант К. что-нибудь говорил вам о своем нежелании отправляться на фронт?

– Это было бы странно. Мы были едва знакомы.

– А ваша фотография? А письмо?

– Я актриса. И это не фотография, это открытка, которую любой может купить. Открытка, разве вы не видите? Видите ли, господин...? Ах да, простите мою рассеянность, господин В., видите ли, у нас, актеров, есть поклонники, которые воображают, что у них с нами родство душ. Таково наше искусство. Оно чарует и соблазняет. Мы ничего не можем поделать с тем, что кто-то носит наши фотографии в нагрудном кармане, что кто-то обращает к нам свои последние слова. Что кто-то обращается к нам на ты. Не спрашивайте меня, почему он пишет мне на ты. Я этого не знаю.

Верит он ей или нет, ей было безразлично. Она хотела остаться одна, хотела плакать, хотела подумать и не хотела пускать посторонних в свою жизнь.

– Ну что ж, фрейлейн С., я вижу, вы взяли себя в руки. Вы хорошая актриса. Мне остается откланяться и оставить вас наедине с вашими тонкими чувствами. Только, думаю, нам придется еще увидаться.

Каспар вспомнил о Лауре, когда заметил, что пора включить свет. Из быстро темнеющего сада влетела мертвая голова, как Кордула почему-то называла всех ночных бабочек, и села на стену. Он позвонил Лауре, растроганно думая, с каким все-таки пониманием она относится к его неспособности придерживаться нормального или хотя бы им самим установленного распорядка: «Извини, что так поздно, мне надо было кое-что додумать и написать пару абзацев, что мне, впрочем, не удалось и сегодня уже не удастся, ты придешь? Я соскучился».

<...>

Случай на озере

Директор театра все-таки уговорил ее поехать в турне по госпиталям. Помимо того, что за это хорошо платили, он намекнул, что тех, кто не проявляет энтузиазма в помощи фронту, может быть, вскорости вычеркнут из списка «гениев нации».

<...>

Она входила в залы замков, монастырей, школ, вокзалов, где были устроены временные больничные театры, и улыбалась мужчинам с повязками на голове, с костылями или на инвалидных креслах – открыто и дружелюбно. Так же ободряюще и бесстрашно медсестры и нянечки улыбались ей и ее дочке. Кто-то из этих мужчин скоро выздоровеет, кто-то скоро умрет, кто-то станет калекой, кто-то никогда не найдет своего потерянного в окопах рассудка, окопы будут засыпаны, рассудки будут погребены под слоями земли, корней травы и птичьего помета. Когда начинались представления, инвалиды исчезали из затемненных залов – все становилось ее *публикой*. А она сама становилась сначала комочком человеческого счастья:

Маргарита

(продолжает)

Не любит. Любит!

Не любит.

(Обрывая последний лепесток, громко и радостно.)

Любит!

А потом кусочком человеческого горя:

Маргарита

Скорей! Скорей!

Спаси свою бедную дочь!

Произнося это, она не думала о своей бедной дочери.

*Дрожащего ребенка,
Когда всплывет голова,
Хватай скорей за ручонку.
Она жива, жива!*

Как всегда на сцене, она чувствовала присутствие ангелов, она играла так хорошо, что ангелы думали, она их взаправду зовет, и появлялись.

Маргарита

*Спаси меня, отец мой в вышине!
Вы ангелы, вокруг меня, забытой,
Святой стеной мне станьте на защиту!
Ты, Генрих, страх внушаешь мне¹.*

Ангелы как всегда не знали чем помочь.

Она не думала ни об инвалидах, ставших публикой, ни о своем бедном ребенке. Она говорила с ангелами.

Зато потом. Дома ее ожидало письмо из детской больницы: дочь ее умерла от воспаления легких. К ней обращался лично профессор Т.:

«Глубокоуважаемая, дорогая госпожа В., с глубочайшим прискорбием вынужден вам сообщить, что ваша дочь М. скончалась от воспаления легких. Как это ни прискорбно, я прошу вас подумать о том, как мучительна была ее жизнь, безутешна и безрадостна. Она никогда, ни в малейшей степени не смогла бы обходиться без посторонней помощи. Я прошу вас подумать о том, как невыносимо было бы вам наблюдать вегетативное существование собственного ребенка. Мы можем утешаться тем, что девочка освобождена от страданий. С восхищением перед вашим талантом и с глубочайшим почтением...» К этому прилагалось официальное сообщение, что в виду отсутствия родственников на момент смерти пациента захоронение было произведено на больничном кладбище, расходы в виде исключения взяла на себя больница.

– Я хочу поговорить с врачом, – сказала она.

Профессор Т. увидел ее в дверях своего кабинета. Разумеется, вид ее вывел его из равновесия. Несколько успокаивало только то, что в его распоряжении теперь была голова девочки. В формалине она стала еще больше похожа на голову актрисы С. Это отчасти спасало от навязчивых мыслей об актрисе С., но только отчасти, потому что он все время думал о том, что хорошо бы еще заполучить и голову актрисы С. И поместить ее в

¹ И. В. Гете. Фауст, 1-я часть. Пер. Б. Л. Пастернака

формалин. Что, конечно же, было не в его власти. Ее разгневанное лицо было безупречно прекрасным. Прекраснее, чем кроткое лицо ее дочери.

Она сказала, что не верит ни одному его слову, она убеждена, что он убил ее девочку, она сказала, она знает, что многих убивают только потому, что они больны и беззащитны, она сказала, он еще горько пожалеет об этом, она не абы кто, она знакома с важнейшими людьми государства, даже с самым главным, она позаботится о том, чтобы его прикончили и сожгли как бешеную собаку.

Немезида, богиня мести. (Эта мысль была ему неприятна, потому что напоминала о его старом учителе греческого и латыни, который впал в слабоумие и был отправлен в клинику Управления по делам окончательного милосердия. Может быть, профессор Т. и мог бы этому воспрепятствовать, но он не хотел допустить, чтобы чувства вставали между ним и долгом.) Он протянул ей стакан воды, куда незаметно подсыпал успокоительное. Она выплеснула воду ему в лицо. Он было рассвирепел, но ярость уступила почти блаженному чувству, ведь это было почти физическое прикосновение к ней. Он достал из ящика своего стола плакат: на беспокойном фиолетовом фоне стоит актриса С. (огромные серые глаза заплаканы) и держит в точеной руке толстый шприц.

– Что вы хотите этим сказать? – спросила она исчезающим голосом.

– Я думаю, вы догадываетесь. О, это великолепный фильм! Вот, пожалуйста, восторженные рецензии.

За плакатом последовали вырезки из газет, которые ей тоже были хорошо знакомы:

... женщина, наделенная сильным характером, стоит перед непростым решением...

... инвалид войны, ставший абсолютно беспомощным, просит свою сестру избавить его от бессмысленных страданий...

... С. исполняет роль этой мудрой, добродетельной, бесстрашной женщины с безупречной правдоподобностью...

... она делает брату избавляющий укол и перед судом отвечает за этот отважный поступок, на который она решается как любящая сестра...

... уверенная в своей правоте и готовая держать ответ...

– Я несколько раз смотрел этот фильм. Вы в этой роли неповторимы. Вы показали миллионам людей правильный путь. Ваша дочь никогда не смогла бы существовать без посторонней помощи. А если бы с вами что-то случилось? Вы только представьте себе, как мучительно, как унижительно была бы ее жизнь. Тем более что отца ее нет в живых.

Последние слова (что ему известна правда о настоящем отце девочки) не произвели ожидаемого эффекта.

– Я вас убью, – сказала она исчезнувшим голосом (но он расслышал) и медленно вышла из кабинета.

Профессор Т. открыл последнюю бутылку коньяка из своих запасов и провел вечер в лаборатории, где хранилась банка с головой.

Дома ее встретил муж, который так долго и старательно изображал сострадание, что оно стало не столько даже выражением, сколько чертами его лица. *Машинально* она позволила ему галантно помочь ей снять шубку и проводить себя в столовую. Все перебивались кое-как и даже почти что голодали, и они не были исключением, но ее горничная умела приготовить из каких-то пустяков вполне правдоподобный обед. Сегодня это был суп-пюре из репы, но первая же ложка вызвала решительный протест ее желудка. Она пошла в спальню и легла. Иногда она просыпалась и говорила тихо и отчетливо «кончено», засыпала, и снова просыпалась, и говорила «она умерла», засыпала, и снова просыпалась, и говорила «я это знала», засыпала, и снова просыпалась, и говорила «мертва», засыпала, и снова просыпалась, и говорила «убита», засыпала, и снова просыпалась, и выпивала немного воды, есть она не могла и на второй и на третий день, скорее ломтик хлеба, чем кусочек шоколада, который ей принес муж, где только он его достал? Позвонил директор театра, она сказала, что не может подняться с постели, и осталась лежать, директор театра передал ей через мужа, что она непременно должна появиться в театре, она сказала: «Скажи ему, он должен разыскать Л., пусть она играет», – муж сказал: «Ты сошла с ума», – он был по-настоящему напуган, ей это показалось забавным, она сказала: «Я не могу пойти в театр, я должна заботиться о моей девочке». Муж вышел из комнаты, чтобы обдумать положение. Она свесила руку с кровати, и у ножки ночного столика ее пальцы погрузились во что-то мягкое, сухое и теплое. Паутина? Она снова опустила руку в гнездо из пыли и паутины. Как если бы она стала собственной мертвой дочкой, мертвой мухой, паутина обовьет всё, белые нити вытеснят воздух и будут гладить ее холодное лицо, белые губы,

окоченевшую грудь, затвердевшие бедра, пустое влагалище, ее мертвые легкие будут вдыхать пыль и станут запыленной паутиной, пылью в паутине, мертвым клубком. Она подняла руку и выговорила горничной, которая не без упрека ответила: «А как же я могу тут убираться, если вы тут лежите целый божий день – и неожиданно добавила: – Как крокодил в Ниле». Она поднялась с кровати, от возмущения чересчур поспешно, и потеряла сознание. Несколько дней без еды дали себя знать. На следующий день она была в театре.

<...>

Каспар сходит с поезда. Перрон напоминает довольно оживленную улицу с лотками, где продают кофе и бутерброды. Он спрашивает рыжую продавщицу под полосатым навесом, есть ли у нее мятный чай. Та кивает, протягивает ему картонный стаканчик и говорит:

«Ну что, господин Вайдеггер, как мы себя чувствуем, лучше?»

Не обращая внимания на вопрос, он платит за свой чай и удаляется.

Один из футбольных фанатов отрывается от своей группы и вприпрыжку мчится к Каспару:

«Лаура-то тебе хоть позвонила?» – и, не дожидаясь ответа, бежит к своим.

Старая дама в соломенной шляпе говорит ему ласковым, как бы прощающим голосом:

«Вы об этом не думайте, господин Вайдеггер. Это совершенно неизбежно, что дети не расспрашивают родителей об их жизни и начинают этим интересоваться только тогда, когда уже слишком поздно».

«У всех здесь есть что сказать о моей личной жизни?» – он пытается придать своему голосу язвительность.

«Разумеется», – удивленно говорит старая дама, и Каспар замечает, что все здесь держат в руках одну и ту же книгу. Он пытается прочитать название, и это ему в конце концов удается: КАСПАР ВАЙДЕГГЕР. Но имени автора не разобрать.

Самым бесстыдным образом все они прочитали эту книгу и прекрасно осведомлены обо всех его обстоятельствах. И он ничего не может с этим поделать.

Господин с ухоженной бородкой, в тройке и с сигарой смотрит на него неприятно пристальным взглядом и просит надписать ему книгу.

Каспар отказывается:

«Не я ее автор!»

Господин в тройке смеется, как если бы Каспар удачно пошутил, и отвечает, что автора ему разыскать не удалось.

Каспар хоть и возмущен, но берет эту книгу в руки и видит над названием самый идиотский из всех возможных псевдонимов:

АВТОР.

Он пролистывает к последней странице. Она пуста. Также и предпоследняя. И та, что перед ней.

<...>

Записки ангелоголика

Над каменной плитой в сырой тени деревьев висят гроздьями ангелы, представляя собой легкую добычу для ангелолова. Поскольку они живут не во времени, им не важно, что в больнице теперь никого не убивают. С точки зрения людей это обычная нервная клиника, окруженная парком, в котором установлен этот памятник. Под каждым платаном – круг из светло-желтых листьев. Кажется, что деревья отбрасывают не тень, а свет. Дворник выгребает свет из-под деревьев. Остаются круглые сырые пятна. Каменные ангелы на портале монастырской церкви стоят рядом с каменным жидом в острой жидовской шляпе, пьющим из живота каменной свиньи каменное свиное молоко. Ангел, обнимающий банку с плавающей головой девочки, бормочет из одной книги, в которой мои уважаемые еврейские коллеги-коллекционеры обсуждают отношения ангелов к их народу: «Особенно интересен комментарий, согласно которому ангелы, направляющие пути мира, не могут игнорировать потомков Израиля, еврейский народ; они или помогают ему и восхищаются им, или унижают его и над ним издеваются». Химеры с колючими крыльями и руками, как когтистые веера, мучительно гримасничают; им кажется, они понимают, кто из ангелов, снующих туда-сюда по подвижной небесной лестнице, великодушен, а кто подл и низок.

Ангелы висят гроздьями над четырехугольной плитой, на которой лежит плюшевый мишка, по которой едет неизвестно куда паровоз (известно куда, в газовую камеру, думают ангелы), пакетик мармелада раскрыт. Здесь очень тихо. Кроме ангелов эта каменная плита никого не интересует. Ангелы спрашивают себя, хорошо это или плохо, что она покрыта мхом, почти задушившим надпись: здесь, в этой монастырской больнице, усыпляли детей, написано подо мхом, что тем немногим, кто сюда приходит, и так известно. Кто-то все-таки здесь иногда бывает, ведь кто-то же приносит игрушки, сласти, свечку, букетик. Это место покинуто людьми, но не ангелами, потому что ангелы никогда не оставляют своих попыток что-то понять. Пребывание здесь их не радует. Это для них такое место, где вождение к миру занемевает. Вождение ангелов бестелесно. Оно скрепляет их мир. Если оно уступает место отвращению, мир этот может распасться. На каменной плите сидит холодная, как мир, лягушка и брезгливо дышит горлом.